

✦ Классическое наследие

UDC 316.253

DOI: 10.30936/1606-951X-2019-21-3/4-23-42

ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ

МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ (Лекции 6-7) (продолжение)*

***Аннотация:** Фрагмент лекционного курса французского социолога Эмиля Дюркгейма, прочитанного им в Сорбонне в 1902-1903 гг. и опубликованный в 1925 г. его последователем, участником дюркгеймовской школы Полем Фоконне. Публикуемый фрагмент охватывает 6 и 7 лекции курса. В них автор рассматривает вопрос о единстве двух первых выделяемых им элементов морали: духа дисциплины и привязанности к группе, — соответствующих традиционному различению долга и блага в морали. Кроме того, он кратко касается и третьего элемента морали: автономии воли, свободного характера принятия и осмысления морального правила.*

***Abstract:** A part of the lecture course delivered by French sociologist Emile Durkheim at Sorbonne in 1902-1903 and edited in 1925 by one of his followers, a participant of Durkheimian school Paul Fauconnet. This part of Durkheimian course includes lectures 6-7. Here the author examines the problem of unity of the two elements of morality, namely the spirit of discipline and the attachment to group. These two elements correspond to traditional distinction of duty and good in morality. Besides, he concerns briefly the third element of morality, that of the autonomy of will, of the free adoption and comprehension of moral rule.*

***Ключевые слова:** Эмиль Дюркгейм, социология, мораль.*

***Keywords:** Emile Durkheim, sociology, morality.*

Лекция шестая. Второй элемент морали: привязанность к социальной группе (окончание). Взаимосвязь и единство двух элементов

Мы закончили выявление второго элемента морали. Он состоит в привязанности индивида к социальным группам, частью которых он является. Мораль начинается уже только с того, что мы составляем часть человеческой группы, какой бы она ни была. Но поскольку в действительности человек является полноценным только тогда, когда он принадлежит разнообразным обществам, сама мораль полноценна только в той мере, в какой мы чувствуем себя солидарными с различными обществами, в

* *Продолжение.* Начало см.: Личность. Культура. Общество. — 2018. — Т. 20. — Вып. 3-4 (99-100). — С. 68-88; 2019. — Т. 21. — Вып. 1-2 (101-102). — С. 9-28. Перевод публикуется при поддержке Российского научного фонда (грант №14-18-0378. Проект «Многообразие видов социокультурной сплоченности в условиях российских реформ: концептуализация и квалиметрия»).

которые мы вовлечены (семья, корпорация, политическая ассоциация, отечество, человечество). Однако, поскольку эти различные общества имеют неодинаковое моральное достоинство, поскольку все они играют разную по важности роль в ансамбле коллективной жизни, они не могут занимать одинаковое место в наших проблемах. Среди них есть одно, которое обладает настоящим превосходством над всеми остальными и составляет главную цель морального поведения; это политическое общество или отечество, понимаемое как частичное воплощение идеи человечества. Отечество, то, которого требует современное сознание, это не завистливое и эгоистичное государство, не знающее иных правил, кроме своего собственного интереса, рассматривающее себя как освобожденное от всякой моральной дисциплины; моральную ценность ему придает именно то, что оно представляет собой приближение, самое высокое из возможных, к тому человеческому обществу, в настоящее время не реализованное и, возможно, не реализуемое, но образующее идеальный предел, к которому мы бесконечно стремимся приблизиться.

Не нужно видеть в этой концепции отечества какое-то мечтание утописта. Легко увидеть, что в истории она все больше становится реальностью. Уже только благодаря тому, что общества становятся все более и более обширными, социальный идеал все сильнее отдалается от всех локальных и этнических условий, с тем, чтобы стать общим для гораздо большего числа людей самых разных рас, из самых разных поселений; уже благодаря этому, он становится более общим и абстрактным, более близким, следовательно, к человеческому идеалу.

Установление этого принципа позволяет нам разрешить одну трудность, с которой мы столкнулись в наших предыдущих лекциях, но разрешение которой мы перенесли на более позднее время.

Из того, что индивидуальный интерес субъекта не представляет собой моральную цель, мы сделали вывод, что индивидуальный интерес другого также ею не является, так как нет основания полагать, что личность, подобная моей, должна иметь перед ней какое-то преимущество. Тем не менее, в действительности не вызывает сомнений, что моральное сознание приписывает определенное моральное свойство действию, посредством которого индивид жертвует собой ради кого-нибудь из себе подобных. Вообще, благотворительность, направленная на других индивидов, во всех своих формах, повсеместно рассматривается как морально одобряемая практика. Значит ли это, что общественное сознание заблуждается, оценивая поведение людей таким образом?

Подобное предположение, очевидно, недопустимо. Учитывая всеобщность этой оценки, мы не можем видеть в ней результат какой-то случайной аберрации. Заблуждение носит случайный характер и не может обладать ни такой универсальностью, ни таким постоянством. Но для того, чтобы привести факты в соответствие с тем, что мы сказали, нет никакой необходимости в своего рода опровержении морального суждения народов. Все, что мы установили, — это то, что благотворительность, в обычном, тривиальном смысле слова, благотворительность индивида по отношению к индивиду, не имеет моральной ценности сама по себе и не может сама по себе являться нормальной целью морального поведения. Но остается все же возможность того, что она интересует мораль опосредованно. Хотя индивидуальный интерес другого не имеет ничего морального сам по себе и не может претендовать на первостепенное значение, тем не менее, может быть так, что тенденция находить его

преимущество перед нашим интересом относится к тем, которые мораль заинтересована развивать, потому что они подготавливают и влияют на обнаружение подлинно и собственно моральных целей.

И это происходит на самом деле. Истинно моральные цели — это только коллективные цели; подлинно моральная движущая сила — это только привязанность к группе. Но когда мы привязаны к обществу, частью которого являемся, психологически невозможно не быть рикошетом привязанным к индивидам, которые его составляют и в которых оно реализуется. Хотя общество — это нечто иное, чем индивид, хотя оно целиком не находится ни в ком из нас, тем не менее, нет никого из нас, в ком бы не обнаруживалось его отражение; следовательно, вполне естественно, что чувства, которые мы испытываем к нему, переносятся на тех, в ком оно частично воплощается. Дорожить обществом — значит, дорожить социальным идеалом; но немного этого идеала существует в каждом из нас. Каждый из нас принимает участие в том коллективном типе, который создает единство группы, который представляет собой в сущности нечто святое, и, следовательно, каждый из нас также причастен к религиозному уважению, внушаемому этим типом. Поэтому привязанность к группе предполагает, косвенным, но почти обязательным образом, привязанность к индивидам, и когда идеал группы есть лишь частная форма человеческого идеала, когда тип гражданина смешивается в значительной части с родовым типом человека, то мы оказываемся привязанными к человеку как к человеку, чувствуя при этом свою более тесную солидарность с теми, кто более специфическим образом осуществляет ту частную концепцию человечества, которую наше общество для себя создает. Вот что объясняет моральный характер, приписываемый чувствам симпатии между индивидами и внушаемым ими поступкам.

Это не значит, что они сами по себе образуют внутренне присущие моральному характеру элементы; но они достаточно тесно связаны с наиболее существенными моральными диспозициями, так что их отсутствие может, не без основания, рассматриваться как довольно явный признак более низкого уровня морали. Когда мы любим свое отечество, когда мы любим человечество в целом, мы не можем видеть страдания наших братьев или вообще всякого человеческого существа, не страдая сами и не испытывая в результате потребности помочь. Напротив, если слишком хорошо известно, как отказаться от всякой жалости, то это потому, что человек не очень способен привязываться к чему-либо, кроме самого себя и, следовательно, *a fortiori*, привязываться к группе, часть которой он составляет. Благотворительность поэтому имеет моральную ценность только как симптом моральных состояний, с которыми она связана, и потому, что она указывает на моральное предрасположение к тому, чтобы отдавать себя, выходить за свои пределы, за круг личных интересов, предрасположение, открывающее пути к подлинной морали.

Впрочем, то же значение имеют разнообразны чувства, привязывающие нас к объектам, индивидуальным существам, не относящимся к людям, с которыми мы близки, такими как животные или вещи, населяющие нашу повседневную среду, место нашего рождения и т.п. Нет, очевидно, ничего морального в том, чтобы дорожить неодушевленными предметами. И тем не менее, всякий, кто слишком легко отрывается от объектов, связанных с его жизнью, демонстрирует тем самым тревожную с моральной точки зрения склонность рвать узы, которые связывают его с чем-то, кроме него самого, т.е. в целом слабую склонность к чему-либо привязываться.

Благотворительность от индивида к индивиду занимает, таким образом, вторичное и подчиненное место в системе моральных практик. Но этому не следует удивляться. Она не имеет права на более высокое место. В самом деле, нетрудно доказать, что эта форма бескорыстия, в целом, бедна своими результатами. В действительности индивид сам по себе, ограниченный только своими силами, не способен изменить состояние общества. Эффективно воздействовать на общество можно, только сгруппировав индивидуальные силы таким образом, чтобы коллективным силам противопоставить коллективные силы. Но те беды, которые стремится устранить или облегчить частная благотворительность, вызываются главным образом социальными причинами.

Если отвлечься от отдельных исключительных случаев, то нищета по своей сути в определенном обществе связана с состоянием экономической жизни и с условиями, в которых она функционирует, т.е. с самой его организацией. Если сегодня много социальных бродяг, людей, выпавших из всякой постоянной социальной среды, то причина в том, что есть нечто в наших европейских обществах, что толкает к бродяжничеству. Если наблюдается разгул алкоголизма, то это потому, что интенсификация развития цивилизации пробуждает потребность в возбуждающих средствах, которая удовлетворяется алкоголем, поскольку какое-то другое средство ее удовлетворения не обеспечено.

Столь явно социальные болезни требуют, чтобы их лечили социально. Изолированный индивид против них ничего сделать не может. Единственное эффективное лекарство можно найти в коллективно организованной благотворительности. Чтобы породить какой-то результат, нужно, чтобы отдельные усилия группировались, концентрировались, организовывались. В таком случае, вместе с тем, действие приобретает более высокий моральный характер, именно потому, что оно служит более общим и безличным целям. Конечно, в этом случае мы уже не будем испытывать удовольствие своими глазами видеть результаты сделанного пожертвования; но именно потому, что бескорыстие здесь более затруднительно, меньше поддерживается эмоциональными впечатлениями, оно обладает большей ценностью. Действовать иначе, помогать при каждом несчастье отдельно, не пытаясь воздействовать на причины, от которых оно зависит, значит поступать подобно врачу, который лечил бы внешние симптомы болезни, не стремясь дойти до глубинной причины, симптом которой — лишь внешнее проявление. Разумеется, иногда вынуждены ограничиваться симптоматическим лечением, когда бессильны сделать нечто большее; речь при этом может идти не о том, чтобы осуждать всякую индивидуальную благотворительность и препятствовать ей, а лишь о том, чтобы определить тот уровень морали, на котором она находится.

Таковы установленные нами два первых элемента морали. Чтобы их различить и определить, мы должны были изучить их отдельно друг от друга. Вследствие этого они до сих пор выглядели для нас как различные и независимые друг от друга. Дисциплина кажется чем-то одним, а коллективный идеал, к которому мы привязаны, — чем-то другим, весьма отличным от нее. В действительности, однако, между ними существуют тесные связи. Они представляют собой лишь две стороны одной и той же реальности. Для того, чтобы увидеть, что составляет их единство и чтобы иметь, таким образом, более цельное и конкретное представление о моральной жизни, нам будет достаточно выяснить, в чем состоит и из чего проистекает тот авторитет, который мы признали за моральными правилами и уважение к которому образует дис-

циплину; до сих пор мы откладывали рассмотрение этого вопроса, но теперь имеем возможность его обсудить.

Мы видели, что моральные правила обладают особым престижем, благодаря которому человеческие воли подчиняются их предписаниям просто потому, что они приказывают, и абстрагируясь от возможных последствий поступков, предписанных таким образом. Выполнять свой долг из уважения к долгу, значит подчиняться правилу, потому что оно правило. Но как так происходит, что правило, устанавливаемое людьми, может иметь такой авторитет, что заставляет склоняться перед ним человеческие воли, из которых оно исходит? Безусловно, поскольку этот факт неоспорим, то он может быть постулирован до того, как мы будем в состоянии дать его объяснение; и его необходимо отстаивать даже тогда, когда мы не в состоянии его объяснить. Нужно остерегаться отрицать моральную реальность только потому, что нынешнее состояние науки не позволяет ее объяснить. Но в действительности то, что было установлено в предыдущих лекциях, позволит нам раскрыть эту тайну, не прибегая ни к какой гипотезе над-экспериментального порядка.

В самом деле, недавно мы показали, что объект морали состоит в том, чтобы привязывать индивида к одной или многим социальным группам, и что мораль предполагает самое эту привязанность. Дело в том, что мораль создана для общества; вследствие этого разве не становится *a priori* очевидно, что она создана обществом? В самом деле, кто мог бы быть ее автором? Индивид? Но из всего того, что происходит в этой огромной моральной среде, каковой является большое общество, подобное нашему, из бесчисленного множества действий и противодействий, которыми каждое мгновение обмениваются эти миллионы социальных единиц, мы воспринимаем лишь кое-какие отклики, отзывающиеся в сфере нашей личности. Мы вполне можем заметить значительные события, происходящие при ярком свете общественного сознания; но внутреннее устройство этого механизма, бесшумное функционирование внутренних органов этого организма, словом, все, что составляет субстанцию и историческую преемственность коллективной жизни, все это находится вне поля нашего зрения, все это от нас ускользает.

Конечно, мы слышим глухой гул жизни вокруг нас, мы чувствуем, что вокруг нас существует огромная и сложная реальность. Но у нас нет ее ясного осознания, так же как это происходит и с физическими силами, заполняющими нашу материальную среду. До нас доходят лишь результаты их действия. Невозможно, стало быть, чтобы индивид был автором этой системы идей и практик, которые прямо не касаются его самого, но которые относятся к иной, нежели он, реальности, и которые он лишь смутно ощущает. Только общество в целом обладает осознанием самого себя, достаточным для того, чтобы суметь установить ту дисциплину, цель которой — выразить его, по крайней мере, в том виде, в каком оно себя осмысливает. Следовательно, логически напрашивается вывод. Если общество — цель морали, то оно также и ее создатель. Индивид не несет в себе предписания морали, четко очерченные как бы заранее, по крайней мере, в схематической форме, так, чтобы ему затем лишь оставалось бы их уточнять и развивать; но они могут только извлекаться из отношений, которые устанавливаются между ассоциированными индивидами, точно так же, как эти предписания выражают жизнь группы или групп, которых они касаются.

Это логическое соображение подтверждается к тому же соображением историческим, которое может рассматриваться как решающее. Что мораль — творение об-

щества, наглядно демонстрирует тот факт, что она видоизменяется в зависимости от того, каково это общество. Мораль греческих и римских гражданских сообществ отличалась от нашей, точно так же, как мораль первобытных племен отличалась от морали этих сообществ. Правда, иногда делались попытки объяснить это разнообразие моралей как результат заблуждений, вызванных несовершенством наших мыслительных способностей. Утверждалось, что если мораль римлян отличалась от нашей, то это потому, что человеческий ум тогда был затуманен и затемнен разного рода предрассудками и суевериями, которые с тех пор рассеялись. Но если и существует факт, который история полагает несомненным, то он состоит в том, что мораль каждого народа непосредственно связана со структурой народа, который ее использует. Эта связь настолько тесна, что, учитывая общие черты морали, соблюдаемой обществом, за исключением аномальных и патологических случаев, из нее можно сделать вывод о природе данного общества, о том, каковы его составные части и способ, которым они организованы. Скажите мне, каков брак, какова семейно-домашняя мораль у того или иного народа, и я вам назову основные черты его организации. Идея о том, что римляне могли практиковать мораль, отличную от их собственной морали, — это настоящий исторический абсурд. Они не только не могли, они не должны были иметь другую.

В самом деле, предположим, что благодаря какому-то чуду они оказались бы открытыми для идей, подобных тем, что находятся в основе нашей нынешней морали; тогда римское общество не могло бы жить. Но мораль — это создание жизни, а не смерти. Словом, каждый социальный тип имеет ту мораль, которая ему необходима, так же как каждый биологический тип имеет ту нервную систему, которая позволяет ему продолжать свое существование. Причина в том, что мораль формируется самим обществом, структуру которого она таким образом точно отражает. И так обстоит дело даже с тем, что называют индивидуальной моралью. Именно общество предписывает нам наши обязанности, вплоть до тех, что у нас есть перед самими собой. Оно обязывает нас осуществлять в себе некий идеальный тип, и оно нас к этому обязывает потому, что в этом жизненно заинтересовано. В действительности оно может жить только при условии, что между всеми его членами существует достаточное сходство, т.е. при условии, что, хотя и в различной степени, все они воспроизводят главные черты одного и того же идеала, который является идеалом коллективным. И вот почему эта часть морали изменялась, как и все остальные, в соответствии с типами и странами.

Если исходить из данного допущения, то вопрос, который мы перед собой поставили, совершенно естественным образом находит свое решение. Если правила морали устанавливает само общество, то оно также должно придавать им тот авторитет, который им принадлежит, и который мы стремимся объяснить. И в самом деле, что мы называем авторитетом? Не желая одним махом, в нескольких словах, разрешить столь сложную проблему, можно, тем не менее, предложить следующее определение авторитета: это свойство, которым какой-нибудь объект или существо, реальное или идеальное, оказываются наделенными по отношению к некоторым индивидам, причем только благодаря тому, что они рассматриваются этими индивидами как наделенные возможностями и силами, превышающими те, которые они приписывают самим себе.

Неважно при этом, являются ли эти возможности и силы реальными или воображаемыми: достаточно того, чтобы в умах они представляли как реальные. Колдун —

это авторитет для тех, кто в него верит. Вот почему этот авторитет считается моральным: дело в том, что он не в вещах, а в сознаниях. Таким образом, опираясь на это определение, легко показать, что существо, лучше всего выполняющее все необходимые условия для создания авторитета, — это коллективное существо. Из всего, что мы сказали, следует, что общество бесконечно превосходит индивида, причем не только в материальном масштабе, но также и в моральной мощи. Оно не только располагает несравненно более значительными силами, поскольку оно порождено слиянием в едином целом всех индивидуальных сил, но именно в нем находится источник той интеллектуальной и моральной жизни, к которому мы припадаем, чтобы поддерживать нашу ментальность и нашу мораль.

Для молодого поколения развиваться — значит понемногу проникаться окружающей цивилизацией, и человек формируется по мере того, как происходит это проникновение в животное, каковым мы являемся при рождении. А хранитель всех богатств цивилизации — общество; это оно их сохраняет и накапливает; это оно передает их от эпохи к эпохе; это через него они доходят до нас. Именно ему поэтому мы ими обязаны, именно от него мы их получаем. Легко себе представить, следовательно, каким авторитетом в наших глазах должна быть наделена моральная сила, лишь частичным воплощением которой является наше сознание. Даже элемент тайны, практически неотъемлемо присущий всякому представлению об авторитете, не чужд тому чувству, которое мы испытываем по отношению к обществу.

В самом деле, естественно, что существо, обладающее сверхчеловеческими способностями, поражает ум человека и содержит благодаря этому нечто таинственное; и вот почему авторитет достигает максимума своего влияния главным образом в религиозной форме. Но мы видели сейчас, что общество для индивида наполнено тайной. Мы не знаем, что происходит, говорил По (Рое). И в самом деле, мы постоянно испытываем впечатление, что вокруг нас происходит множество вещей, сущность которых нам не понятна. Всякого рода силы движутся, встречаются, сталкиваются совсем рядом с нами, почти задевают нас по пути, а мы их не видим, вплоть до того дня, когда какая-нибудь яркая вспышка не даст нам понять, что совсем рядом с нами происходила скрытая, тайная работа, о которой мы не догадывались и замечаем лишь ее результаты. Но есть один примечательный факт, постоянно поддерживающий в нас данное чувство: это давление, которое общество каждое мгновение на нас оказывает и которое мы не можем не осознавать. Всякий раз, когда мы размышляем над тем, как мы должны действовать, слышится голос, который говорит в нас и который нам говорит: таков твой долг.

А когда мы не выполняем этот долг, который был нам представлен таким образом, слышится тот же голос и протестует против нашего поступка. Поскольку он говорит с нами приказным тоном, мы определенно ощущаем, что он исходит от некоего существа, более высокого, чем мы; но мы не видим ясно, ни кто оно, ни что оно собою представляет. Вот почему воображение различных народов, для того чтобы иметь возможность объяснить этот таинственный голос, отличающийся своей особой интонацией от человеческого, это народное воображение присвоило его трансцендентным личностям, превосходящим человека, ставшим объектом культа, культа, в конечном счете представляющего собой лишь внешнее свидетельство авторитета, который за ними был признан. Нам предстоит оторвать эту концепцию от мифических форм, в которые она облекалась в ходе истории, и под символом найти реаль-

ность. Эта реальность — общество. Именно общество, формируя нас морально, поместило в нас эти чувства, которые столь повелительно определяют наше поведение или столь энергично реагируют, когда мы отказываемся подчиняться его требованиям. Наше моральное сознание — это его создание, и оно его выражает; когда говорит наше сознание, то это говорящее в нас общество. А тон, которым оно с нами говорит, — это лучшее доказательство исключительного авторитета, которым оно наделено.

Более того: общество — не только моральный авторитет, но есть все основания полагать, что оно является образцом и источником любого морального авторитета. Конечно, нам нравится думать, что существуют индивиды, обязанные своим престижем только самим себе и превосходству своей натуры. Но чему они обязаны этим? Своей большей материальной силе? Но именно потому, что общество сегодня отказывается морально освящать чисто физическое превосходство, последнее само по себе не придает никакого морального авторитета. Люди не только не испытывают уважения к человеку потому, что он очень физически силен, но они его едва ли не опасаются; ведь наша социальная организация стремится как раз к тому, чтобы помешать ему злоупотреблять своей силой и, следовательно, делает его менее опасным. Достаточно ли будет большего ума, исключительных научных способностей для того, чтобы тем, кто обладает этой привилегией, придать авторитет, пропорциональный их интеллектуальному превосходству? Но для этого необходимо еще, чтобы общественное мнение признавало моральную ценность за наукой.

Галилей был лишен всякого авторитета в глазах осудившего его трибунала. У народа, который не верит в науку, даже самый великий научный гений не сможет иметь никакого влияния. Будет ли более высокий уровень морали более эффективным? Но для этого еще нужно, чтобы эта мораль была именно той, которой требует общество. Ведь действие, которое оно не одобрит в качестве морального, каким бы оно ни было, не сможет способствовать уважению того, кто его совершает. Христос и Сократ были аморальными людьми для большинства их сограждан и не пользовались среди них никаким авторитетом. Словом, авторитет не коренится во внешнем, объективном факте, который бы его логически предполагал и с необходимостью создавал. Он целиком заключен в идее, которая существует у людей об этом факте; он есть вопрос мнения, а мнение — коллективное явление. Это чувство определенной группы.

Легко, впрочем, понять, почему всякий моральный авторитет должен иметь социальное происхождение. Авторитет — это свойство человека, который возвысился над людьми; это сверхчеловек. Но самый умный, самый сильный, самый честный человек — все же человек; существующие между ним и ему подобными различия — лишь в степени. Только общество находится над индивидами. От него поэтому исходит всякий авторитет. Это оно придает тем или иным человеческим качествам то свойство *sui generis*, тот престиж, который возвышает над ними самими обладающих им индивидов. Они становятся сверхчеловеками, потому что таким образом они участвуют в этом превосходстве, в этой своего рода трансцендентности общества по отношению к его членам.

Давайте применим то, что было только что сказано, к правилам морали, и авторитет, которыми они наделены, можно будет объяснить без особого труда. Именно потому, что мораль — явление социальное, она представляется нам, она всегда представлялась людям, как наделенная своего рода идеальной трансцендентностью; мы чувствуем, что она принадлежит миру, который выше нас, и это заставляло народы

видеть в ней слово и закон некоей сверхчеловеческой силы. Если и существуют идеи и чувства, на которых больше всего концентрируется авторитет коллектива, то это, безусловно, моральные идеи и моральные чувства. Не существует таких идей и чувств, которые были бы столь тесно связаны с тем, что наиболее существенно в коллективном сознании: они составляют его витальную часть. И таким образом объясняется и уточняется то, что мы сказали ранее о способе, которым моральные правила воздействуют на волю. Когда мы говорили о них как о силах, которые нас сдерживают и ограничивают, могло показаться, что мы пытаемся конкретизировать и оживить какие-то абстракции.

В самом деле, что такое правило, как не простая комбинация абстрактных идей? И как сугубо вербальная формула может иметь такое действие? Но теперь мы видим, что за формулой существуют реальные силы, которые образуют ее душу и для которых она лишь внешняя оболочка. «Не убивай», «не кради» — эти максимы, которые люди передают друг другу из поколения в поколение на протяжении веков, очевидно, не содержат в себе никакой магической силы, которая бы заставляла их уважать. Но за максимой существуют коллективные чувства, состояния общественного сознания, простым выражением которых она является и которые создают ее эффективность. Ведь это коллективное чувство есть сила столь же реальная и столь же действенная, как и силы, наполняющие физический мир. Словом, когда мы сдерживаемся моральной дисциплиной, то в действительности нас сдерживает и ограничивает общество. Вот то конкретное и живое существо, которое устанавливает нам границы, и когда мы знаем, что оно собою представляет, и насколько оно превосходит моральную энергию индивида, мы уже больше не удивляемся силе его воздействия.

Одновременно мы обнаруживаем, как оба элемента морали связываются друг с другом и что создает их единство. В них не нужно видеть два совершенно различных и независимых друг от друга явления, неизвестно как встречающиеся в основании нашей моральной жизни; наоборот, они представляют собой лишь два аспекта одного и того же явления, каковым является общество. Что, в самом деле, такое дисциплина, как не общество, воспринимаемое как то, что нами командует, нам приказывает, дает нам свои законы? И во втором элементе, в привязанности к группе, мы также обнаруживаем общество, но воспринимаемое на этот раз как явление благое и желанное, как привлекающая нас цель, как идеал, который необходимо реализовать. В первом случае оно выступает для нас как авторитет, который нас сдерживает, устанавливает нам границы, противостоит нашим попыткам выхода за эти границы, и перед которым мы склоняемся с чувством религиозного уважения; во втором случае — это питающая нас дружеская и защищающая сила, из которой мы черпаем все главное в нашей интеллектуальной и моральной субстанции и к которой наши волевые устремления обращаются в порыве благодарности и любви.

В одном случае общество — как Бог, неистовый и внушающий страх, суровый законодатель, не позволяющий нарушать свои приказы; во втором — это помогающее божество, ради которого верующий жертвует собой с радостью. И общество обязано этим двойственным аспектом и этой двойственной ролью тому одному-единственному свойству, в силу которого оно есть нечто более высокое, чем индивиды. Именно потому, что оно находится над нами, оно нами командует, оно является повелевающим авторитетом; если бы оно находилось на нашем уровне, оно могло бы лишь давать советы, которые бы нас не обязывали, не навязывались бы нашей воле.

И точно так же, именно потому, что оно находится над нами, оно образует единственную возможную цель морального поведения. Как раз потому, что эта цель находится над нашими индивидуальными целями, мы не можем стремиться ее осуществлять без того, чтобы в той же мере не возвышаться над нами самими, без того, чтобы превосходить нашу индивидуальную природу, что составляет наивысшую цель, которой могли бы добиться и которой никогда не добивались люди.

Вот почему величайшие исторические фигуры, те, которые представляются нам бесконечно возвышающимися над всеми остальными, это не выдающиеся художники, ученые или государственные деятели, но те из людей, кто совершил или считается, что совершил, самые великие моральные деяния: это Моисей, Сократ, Будда, Конфуций, Христос, Магомет, Лютер, если упомянуть только несколько из наиболее великих имен. Дело в том, что это не только великие люди, т.е. индивиды, подобные нам, хотя и превосходящие нас своими талантами. Поскольку в нашем сознании они сливаются воедино с безличным идеалом, который они воплотили, и большими человеческими объединениями, которые они персонифицировали, они выступают для нас как возвышающиеся над человеческим обликом и преображенные. И вот почему народное воображение, когда оно их не обожествляло, все-таки испытывало потребность особо выделить их и приблизить, настолько близко, насколько возможно, к божеству.

Результат, к которому мы сейчас пришли, не только не извращает общеупотребительные концепции, но, наоборот, находит в них подтверждение, дополняя их в то же время новыми уточнениями. В самом деле, в морали все более или менее четко различают два элемента, точно соответствующие тем, которые мы сами только что различили; это то, что моралисты называют благом и долгом. Долг — это мораль как приказывающая и запрещающая, суровая и жесткая, с принудительными предписаниями; это указание, которому надо подчиняться. Благо — это мораль, предстающая перед нами как явление доброе, как желанный идеал, к которому мы стремимся спонтанным движением воли.

Однако идея долга, так же как и идея блага, сами по себе являются абстракциями, которые, пока их не связывают с живой реальностью, так сказать, повисают в воздухе и, следовательно, лишены всего того, что необходимо, чтобы обращаться к умам и сердцам, особенно к умам и сердцам детей. Конечно, каждый, кто обладает живым ощущением моральных явлений, может с жаром их обсуждать, а жар коммуникативен. Но разве рациональное воспитание должно состоять в горячей проповеди, апеллирующей только к страстям, притом, что пробуждаемые таким образом страсти могут быть весьма благородными? Подобное воспитание не отличалось бы от того, которое мы стремимся заменить, поскольку страсть — это не только форма предрассудка, но важная форма предрассудка.

Несомненно, страсти пробуждать необходимо, так как они являются движущей силой поведения. Но нужно пробуждать их методами, подсудными разуму. Нужно также, чтобы страсти эти не были слепыми. Нужно также поместить рядом с ними идею, которая бы их освещала и ими управляла. Но если мы ограничимся тем, что взволнованным тоном будем повторять и конструировать абстрактные слова, подобные таким, как благо и долг, то из этого может получиться лишь моральный пситтацизм. Что действительно необходимо, так это способствовать контакту ребенка с вещами, с конкретными и живыми реалиями, для которых абстрактные термины слу-

жат лишь средством выражения их наиболее общих черт. А что собой представляет эта реальность, мы показали. Таким образом моральное воспитание достигает своей цели; оно не просто оказывается перед лицом туманно определяемых понятий, а находит точку опоры в реальности; оно знает, каковы силы, которые оно должно использовать и которые оно должно заставить воздействовать на ребенка, чтобы создать из него моральное существо.

Лекция седьмая. Выводы относительно двух первых элементов морали.

Третий элемент: автономия воли

Метод, который мы используем в изучении моральных фактов, имеет целью трансформировать в четкие и точные понятия смутные впечатления обыденного морального сознания. Наша цель — помочь ему ясно разобраться в себе самом, узнать себя среди разнообразных тенденций, смутных и противоречивых идей, приводящих его в движение. Но речь не идет о том, чтобы занять его место нами. Оно есть моральная реальность, от которой нам нужно отправляться и к которой нам всегда нужно возвращаться. Оно есть наш единственный возможный пункт отправления: ибо где еще можем мы наблюдать мораль в том виде, в каком она существует? А умозрительные рассуждения о морали, которые не начинаются с ее наблюдения такой, как она есть, с тем, чтобы прийти к пониманию того, в чем она состоит, из каких существенных элементов она создана, каким функциям она соответствует, неизбежно лишены всякого основания.

Единственный возможный объект исследования составляют суждения обыденного сознания, в том виде, как они представляются наблюдению. Но, с другой стороны, именно к обыденному сознанию необходимо вернуться в конце исследования, с тем, чтобы постараться его прояснить, заменив его смутные представления более определенными и методически разработанными идеями. Вот почему я сделал для себя правилом, при каждом сделанном нами шаге вперед, при каждом создаваемом нами понятии, устанавливать, что им соответствует в обиходных моральных концепциях, каковы те туманные впечатления, научной формой которых являются эти понятия.

Именно так, после того как я провел различие двух главных элементов морали, я постарался показать, что в иных формах это различие, хотя и не идентичное, но аналогичное, проводится всеми. В самом деле, почти невозможно найти такого моралиста, который бы не ощущал, что в морали существуют два рода достаточно разных явлений, которые обычно обозначаются словами «благо» и долг. Долг — это та мораль, которая повелевает; это мораль, понимаемая как авторитет, которому мы должны повиноваться, потому что она авторитет и исключительно по этой причине. Благо — это мораль, понимаемая как явление хорошее, притягивающее к себе волю, пробуждающее спонтанное желание. Легко заметить, таким образом, что долг — это общество, навязывающее нам правила, устанавливающее границы для нашей природы, тогда как благо — это тоже общество, но в качестве более богатой реальности, чем мы сами, к которой мы не можем привязываться, не обогащая тем самым в результате наше существование.

Это означает, таким образом, и с той, и с другой стороны, выражение одного и того же чувства, предстающего перед нами в двойственном аспекте: в одном случае, как повелительное законодательство, требующее от нас полного подчинения, в дру-

гом — как прекрасный идеал, к которому спонтанно стремятся чувства. Но, хотя это одно и то же выражаемое чувство, оно весьма различно в обоих случаях, и данное различие имеет не только теоретическое значение. В самом деле, благо (*bien*) и долг (*devoir*) — это абстрактные слова, субстантивированные прилагательное и глагол, резюмирующие характерные черты одной реальности, которая является доброй (*bonne*) и которая обладает свойством подчинять наши воли. Что это за реальность? Это мораль? Но мораль сама по себе есть совокупность общих суждений, общих максим. Какова реальность, выражаемая этими суждениями, какова ее природа?

Этот вопрос, который обыденное сознание себе не задает, мы попытались решить, и тем самым мы снабдили воспитание средством, причем единственным, рационального формирования морального характера ребенка. Есть только один метод пробуждения в сознании ребенка идей и чувств, не прибегая к искусственным ухищрениям, не апеллируя исключительно к слепым страстям: это связать, установить как можно более тесные контакты ребенка с самой вещью, к которой относятся эти идеи и чувства. Она и только она должна вызывать своим действием в сознании выражающие ее духовные состояния. Воспитание вещами так же настоятельно необходимо для формирования моральной культуры, как и для культуры интеллектуальной. Теперь, когда мы знаем, каковы эти вещи, какова конкретная реальность, которую выражают моральные чувства, вполне просматривается метод осуществления морального воспитания. Достаточно будет добиться проникновения этой вещи в школу, сделать из нее элемент школьной среды, представить в ее различных аспектах таким образом, чтобы она отпечаталась в их сознании. По крайней мере, принцип воспитательной практики найден.

Одновременно с тем, что оба элемента морали оказываются, таким образом, привязаны к реальности, лучше видно то, что создает их единство. Вопрос о том, как благо соединяется с долгом, и наоборот, часто смущал моралистов, и они не видели других способов решения этой проблемы, кроме как выводить одну отмеченную концепцию из другой. Для одних благо — это первичное понятие, из которого проистекает долг; у нас, говорят они, есть долг соблюдать правило, потому что поступок, который оно предписывает, хороший. Но тогда идея долга стирается и даже полностью исчезает. Делать нечто потому, что мы это любим, потому, что оно хорошее, это уже не значит делать это благодаря долгу. Долг, наоборот, почти обязательно предполагает идею усилия, требуемого сопротивлением чувственности; в основе понятия обязанности, лежит понятие морального принуждения. Другие, напротив, пытались выводить благо из долга и утверждали, что нет другого блага, кроме выполнения своего долга. Но тогда, наоборот, мораль лишается всего, что притягательно, что обращено к любви, всего, что может вызывать спонтанные действия, с тем, чтобы стать повелительным, чисто принудительным указанием, которому нужно повиноваться, так что навязываемые им действия ничему не соответствуют в нашей природе, не представляют для нас никакого интереса. Здесь исчезает понятие блага, а оно не менее необходимо, чем другое понятие, так как невозможно, чтобы мы действовали, а наша деятельность при этом не представлялась нам как благая в каких-то отношениях, чтобы мы в какой-то мере не были заинтересованы в ее осуществлении.

Таким образом, все отмеченные попытки свести эти два понятия к единству, выводя одно из другого, имели следствием исчезновение либо одного, либо другого, поглощение либо долга благом, либо блага долгом, что оставляет место только для

морали обедненной и неполной. Будучи поставленной таким образом, проблема неразрешима. Напротив, она легко решается с того момента, как мы ясно поняли, что эти два элемента морали — это лишь два различных аспекта одной и той же реальности. В таком случае, создающее их единство состоит не в том, что последний является королларием первого, или наоборот; это само единство реального существа, различные способы действия которого они выражают. Поскольку общество выше нас, оно нами командует; а, с другой стороны, все в нас возвышенно, поскольку оно проникает в нас, поскольку оно составляет часть нас самих, оно притягивает нас той особой притягательностью, которую внушают нам моральные цели.

Нет поэтому необходимости пытаться выводить благо из долга, или наоборот. Но, в соответствии с тем, представляем мы себе общество в одном или в другом аспекте, оно выступает для нас как могучая сила, создающая для нас закон или же как любимое существо, которому мы себя жертвуем; и в зависимости от того, определяется наше действие одним или другим представлением, мы действуем из уважения к долгу или же из любви к благу. И поскольку мы, вероятно, никогда не можем представлять себе общество с одной из этих точек зрения при полном исключении другой, поскольку мы никогда не можем радикально разделить два аспекта одной и той же реальности, поскольку, благодаря естественной ассоциации, один аспект вряд ли может не быть представлен, хотя и в более стертom виде, когда другой занимает первый слой сознания, то отсюда следует, что, строго говоря, мы никогда не действуем целиком ни из чистого долга, ни из чистой любви к идеалу; на практике всегда одно из этих чувств должно сопровождать другое, по крайней мере, в качестве вспомогательного и дополнительного средства.

Очень мало людей, если они вообще существуют, которые могли бы выполнять свой долг только потому, что это долг, не имея хотя бы смутного осознания того, что предписанное им действие является благом в некоторых отношениях; словом, не склоняясь к нему каким-нибудь естественным влечением, исходящим от их чувств. И наоборот, хотя общество находится в нас, и мы частично сливаемся с ним воедино, коллективные цели, которые мы преследуем, когда действуем морально, располагаются настолько выше нас, что для того, чтобы достигнуть их высоты, чтобы нам настолько превзойти самих себя, нам необходимо обычно сделать какое-то усилие, на которое мы были бы не способны, если бы идея долга, чувство, что мы должны действовать таким-то образом, что мы обязаны это сделать, не усиливало нашу привязанность к коллективу и не поддерживало следствие этого.

Но какими бы тесными ни были связи, соединяющие между собой эти два элемента, как бы ни были они в действительности друг в друга вовлечены, важно отметить, что они остаются все-таки очень разными. Доказательством служит то, что у индивида, как и у целых народов, они развиваются в противоположных направлениях. У индивида всегда доминирует тот или иной из этих элементов, который окрашивает своим особым колоритом моральный облик субъекта. В этом отношении в моральных характерах людей можно различить два крайних, противоположных типа, которые, разумеется, связывают между собой множество промежуточных нюансов. У одних преобладает ощущение правила, дисциплины. Они выполняют свой долг сразу же, как только с ним встречаются, целиком и без колебаний, уже только потому, что это их долг, который сам по себе мало что говорит их сердцу. Это те люди, обладающие глубоким разумом и сильной волей, идеальным образцом которых был

Кант, но у которых эмоциональные способности развиты гораздо меньше, чем мыслительные. Как только их разум сказал свое слово, они тут же повинуются; но держат на расстоянии влияния, исходящие от их чувств. Поэтому их облик содержит в себе нечто твердое и решительное, а также холодное, суровое и ригидное. Их особенность состоит в силе сдерживания, с которой они могут воздействовать на самих себя.

Вот почему они не превышают своих прав и не посягают на права другого; но они не очень способны на те спонтанные порывы, в которых индивид отдает себя, жертвует собой, испытывая при этом радость. Другие, наоборот, вместо того, чтобы сдерживать себя и сосредоточиваться, любят тратить свои силы и выражаться вовне; они любят привязываться, посвящать себя кому-то или чему-то; это любящие сердца, благородные и пылкие души, но зато их деятельность с трудом поддается регулированию. Кроме того, хотя они способны на стремительные действия, им гораздо труднее подчинять себя повседневной практике выполнения долга. Их моральное поведение поэтому лишено той логической последовательности, той прекрасной моральной устойчивости, которые мы наблюдаем у представителей первого типа. Мы менее уверены в этих страстных людях, потому что страсти, даже самые благородные, выдыхаются, сменяя друг друга под влиянием случайных обстоятельств и в самых разных направлениях.

В целом, эти два типа противостоят друг другу так же, как и два элемента морали. Одним свойственны то самообладание, та сила запрета, тот авторитет для самих себя, которые развивает практика долга; другие отличаются той активной и творческой энергией, которую развивает столь длительное и близкое, насколько только возможно, единение с самим источником моральных энергий, т.е. с обществом.

С обществами дело обстоит так же, как с индивидами. У них также доминирует либо один, либо другой элемент; и в зависимости от одного или другого моральная жизнь изменяет свой вид. Когда народ достигает состояния равновесия и зрелости, когда разнообразные социальные функции обрели, по крайней мере, на какое-то время, свою форму организации, когда коллективные чувства в своих главных чертах неоспоримы в глазах значительного большинства индивидов, тогда склонность к правилу, к порядку естественным образом преобладает. Всякого рода попытки, даже бескорыстные, каким-то образом нарушить систему общепринятых взглядов и устоявшихся правил, пусть даже для ее усовершенствования, вызывают лишь отторжение.

Бывает даже так, что это состояние духа настолько усиливается, что его влияние ощущается не только в нравах, но также и в искусстве и литературе, выражающие на свой лад моральную конституцию страны. Такова характерная черта таких эпох, как, например, эпоха Людовика XIV или Августа, когда общество пришло к полному осознанию самого себя. Напротив, в эпохи перехода и трансформации дух дисциплины не может сохранять свое моральное могущество, поскольку система используемых правил поколеблена, по крайней мере, в некоторых ее частях. В такие времена сознания с неизбежностью меньше ощущают авторитет дисциплины, который оказывается реально ослабленным. В результате основной моральной пружиной тогда становится другой элемент морали, потребность в цели, к которой можно было бы стремиться, в идеале, которому можно было бы себя посвятить, словом, дух самопожертвования и преданности.

Однако, — и именно к данному выводу мы хотели в данном случае прийти, — мы как раз переживаем одну из этих критических фаз. Даже, можно сказать, нет в истории

столь серьезного кризиса, как тот, в который европейские общества втянуты вот уже более столетия. Коллективная дисциплина в ее традиционной форме утратила свой авторитет, как это доказывают разнообразные тенденции, воздействующие на общественное сознание, и то общее беспокойство, которое отсюда проистекает. В результате сам дух дисциплины утратил свое влияние. В данных условиях ресурс существует только в другом элементе морали.

Конечно, ни в какое время дух дисциплины не может быть маловажным явлением. Мы сами говорили, что больше, чем когда-либо, нужно ощущать необходимость моральных правил в то время, когда люди работают над их трансформацией. Необходимо поддерживать это ощущение у ребенка, и здесь задача, от выполнения которой воспитатель никогда не должен отказываться. Скоро мы увидим, как он должен ее выполнять. Но моральная дисциплина может возыметь все свое полезное воздействие только тогда, когда мораль сформировалась, поскольку она имеет целью закреплять, поддерживать существенные черты, которые эта мораль предполагает уже закрепленными. Когда же, наоборот, морали предстоит сформироваться, когда она себя ищет, нужно, чтобы ее создать, опереться не на чисто консервативные силы, поскольку речь идет не о сохранении, а об активных и творческих силах сознания.

Хотя, разумеется, не следует терять из виду необходимость дисциплинировать моральную энергию, все же главным образом воспитатель должен заниматься ее пробуждением и развитием. Нужно прежде всего стимулировать способности к самоотдаче, к самопожертвованию, а их нужно снабжать разнообразной пищей. Нужно вовлекать индивидов в достижение великих коллективных целей, к которым они могли бы привязываться; нужно заставить их полюбить социальный идеал, осуществлением которого они могли бы однажды заняться. Иначе, если второй источник морали не компенсирует то, что в первом временно, но с неизбежностью недостаточно, нация не может не впасть в состояние моральной астении, которая опасна даже для ее материального существования. Ведь если общество не обладает ни тем единством, которое возникает из того, что взаимоотношения между его частями точно отрегулированы, из того, что хорошая дисциплина обеспечивает гармоническое сотрудничество функций, ни тем единством, которое возникает из того, что все воли устремлены к общей цели, то это всего лишь куча песка, и достаточно малейшего сотрясения или дуновения, чтобы ее рассыпать. Следовательно, в нынешних условиях нужно прежде всего стремиться к тому, чтобы пробудить веру в общий идеал.

Мы видели, как одухотворенный патриотизм может обеспечить эту необходимую цель. Новые идеи справедливости, солидарности находятся в процессе разработки, и рано или поздно они создадут для себя соответствующие институты. Работать над извлечением этих идей, еще смутных и неосознанных, из них самих, заставить детей полюбить их, не возбуждая у них возмущения против идей и практик, завещанных нам прошлым и являвшихся условием тех, что формируются перед нашими глазами, — вот какова сегодня наиболее насущная цель морального воспитания. Прежде всего, нам нужно создать душу, а душу эту нужно подготовить у ребенка. И, конечно, моральная жизнь, которая возникнет таким образом, подвергнется опасности того, что она будет носить бурный характер, поскольку она организуется не сразу; но все позволяет надеяться, что когда она уже будет создана, то со временем отрегулируется и дисциплинируется.

Мы должны теперь убедиться в том, что результаты только что проведенного анализа соответствуют той программе, которую мы себе наметили. Прежде всего, мы задались целью найти рациональные формы тех моральных верований, которые до сих пор выражались почти исключительно в религиозной форме. Удалось ли нам это? Чтобы ответить на данный вопрос, посмотрим, каковы моральные идеи, которые нашли в религиозных символах относительно адекватное выражение.

Прежде всего, привязывая мораль к трансцендентной силе, религия сделала легко представимым авторитет, внутренне присущий моральным предписаниям. Этот повелительный характер правила, вместо того, чтобы выступать как абстракция, не имеющая корней в реальности, объяснялась без всяких затруднений с того момента, как само правило стало восприниматься как эманация высочайшей воли. Моральная обязанность имеет объективное основание с того момента, когда над нами есть существо, обязывающее нас, и чтобы дать ощущение этого ребенку, было достаточно заставить его почувствовать, с помощью подходящих средств, реальность этого трансцендентного существа.

Но божественное существо воспринимается не только как законодатель и хранитель морального порядка: это также и идеал, который индивид стремится реализовать. *Homoiψsis τῆ θεῆς*; прийти к тому, чтобы уподобиться богу, слиться с ним воедино — таков основополагающий принцип всякой религиозной морали. Если, в известном смысле, бог существует в другом, то он непрерывно становится, он постепенно реализуется в мире постольку, поскольку мы подражаем ему и воспроизводим его в нас самих. И, если он может служить для человека образцом и идеалом, то это потому, что как бы высоко он ни находился по отношению к каждому из нас, все-таки есть нечто общее между ним и нами. В нас находится частица его самого; эта важнейшая часть нашего существа, называемая душой, исходит от него и выражает его в нас. Она — божественный элемент нашей природы, и именно этот элемент мы должны развивать. Благодаря этому человеческая воля оказывалась привязанной к сверхиндивидуальной цели, и, тем не менее, обязанности индивида по отношению к другим индивидам не были из-за этого отброшены, но были привязаны к более высокому источнику, из которого они проистекают. Поскольку мы все несем на себе божественную печать, чувства, внушаемые нам божеством, должны естественным образом переноситься на тех, кто сотрудничает с нами в осуществлении бога. В них мы также любим бога, и именно благодаря этому условию наша любовь будет иметь моральную ценность.

И можно увидеть, что нам удалось выразить в рациональных терминах все эти моральные реалии; нам оказалось достаточно заменить концепцию сверхэкспериментального существа эмпирическим, непосредственно наблюдаемым понятием этого существа, каковым является общество, при условии, что общество представляется не как арифметическая сумма индивидов, но как новая личность, отличная от индивидуальных личностей. Мы показали, как таким образом понимаемое общество нас обязывает, поскольку оно над нами доминирует, и как оно притягивает к себе воли, поскольку, хотя и доминируя над нами, оно в нас проникает. Подобно тому, как верующий видит в важнейшей сфере сознания частицу, отражение божества, мы в ней увидели частицу и отражение коллектива. Параллелизм в данном случае даже настолько полный, что он сам по себе является своего рода первым доказательством многократно здесь отмеченной гипотезы, согласно которой божество есть символическое выражение коллектива.

Могут возразить, что перспектива загробных санкций лучше гарантирует авторитет моральных правил, чем простые социальные санкции, применение которых, подверженное ошибке, всегда ненадежно. Но, прежде всего, то, что существуют великие религии, не ведавшие этих санкций, наглядно показывает, что истинная причина эффективности религиозных санкций не в этом: таков пример иудаизма до весьма поздней эпохи его истории. Более того, сегодня все готовы признать, что в той мере, в какой относительное уважение к санкциям, какими бы они ни были по своей природе, влияет на совершаемое действие, в той же мере это действие лишено моральной ценности. Невозможно, следовательно, приписывать моральное значение концепции, которая не может воздействовать на поведение, не разрушая его моральный характер.

Мы, таким образом, застраховались от того, чтобы не обеднить моральную реальность, объясняя ее в рациональной форме. Но, более того, легко увидеть, как мы и предсказывали, что это изменение форм предполагает и другие изменения в содержании. Конечно, это неплохой результат, особенно учитывая преследуемую нами цель, доказать, что вся мораль целиком, без умаления и искажения, может быть сведена к эмпирическим реалиям, и, следовательно, воспитание вещами применимо к моральной культуре так же, как и к культуре интеллектуальной. Но помимо этого, данная замена одной формы другой имеет также следствием выявление таких черт и элементов морали, которые иначе остались бы незамеченными.

Дело, конечно, не в том, что простая логико-научная операция, подобная той, что мы осуществили, могла бы их создать из ничего, быть достаточной для того, чтобы породить их. Наука объясняет то, что есть, но не создает этого. Она не может сама по себе надеть мораль свойствами, которыми бы мораль не обладала ни в малейшей степени. Она может лишь помочь сделать очевидными характеристики уже существующие, но для выражения которых религиозный символизм был непригоден, потому что они возникли слишком недавно, а он, вследствие этого, стремился их отрицать или же, по крайней мере, оставить в тени.

Уже благодаря тому, что она рационализована, мораль избавлена от неподвижности, на которую она логически обречена, когда опирается на религиозное основание. Когда она рассматривается как закон вечного и неизменного существа, очевидно, что она должна восприниматься как незыблемая, как образ божества. Напротив, если, как я попытался доказать, она образует социальную функцию, она обладает и относительным постоянством, и относительной изменчивостью, которые присущи обществам. Общество остается в определенной мере тождественным самому себе на протяжении всего своего существования. За изменениями, через которые оно проходит, содержится основополагающий фон, всегда остающийся тем же самым. Используемая им моральная система поэтому представляет собой ту же степень тождества и постоянства. Между моралью Средневековья и моралью наших дней существуют общие черты. Но, с другой стороны, поскольку общество, оставаясь самим собой, непрерывно эволюционирует, то и мораль параллельно трансформируется. И по мере того, как общества становятся все более сложными и пластичными, эти трансформации становятся более быстрыми и существенными. Вот почему мы сказали сейчас, что в настоящее время наша главная обязанность в том, чтобы создать себе мораль.

Таким образом, моральная жизнь, если она выражает прежде всего социальную природу, не будучи настолько текучей, чтобы не закрепляться на какое-то время, тем не менее, способна бесконечно развиваться.

Но, каким бы значительным ни было это изменение в способе понимания морали, уже благодаря тому только, что она секуляризована, существует и другое, более важное изменение. Существует целый элемент морали, о котором мы до сих пор не говорили, и который логически может появиться только в рациональной морали.

В самом деле, до сих пор мы представляли мораль как систему правил, внешних для индивида, которые навязываются ему извне, разумеется, не материальной силой, но благодаря содержащемуся в них авторитету. Тем не менее, с этой точки зрения, индивидуальная воля выступает как управляемая неким законом, который не является ее творением. В действительности, не мы создаем мораль. Конечно, поскольку мы составляем часть разрабатывающего ее общества, в каком-то смысле каждый из нас содействует ее разработке. Но прежде всего собственное участие каждого поколения в моральной эволюции очень незначительно. Главные направления морали нашего времени в момент нашего рождения уже установлены; изменения, которые она претерпевает в процессе индивидуального существования, те, следовательно, в которых каждый из нас может участвовать, чрезвычайно ограничены. Ведь великие моральные трансформации всегда предполагают значительное время.

Более того, мы являемся лишь одной из бесконечного числа сотрудничающих в них единиц. Наш личный вклад поэтому всегда есть лишь крошечный фактор сложной равнодействующей силы, в которой он исчезает, становясь анонимным. Таким образом, невозможно не признать, что хотя моральное правило есть создание коллективное, мы получаем его гораздо больше, чем создаем. Наша установка в данном случае гораздо более пассивная, чем активная. На нас действуют больше, чем действуем мы. Но эта пассивность находится в противоречии с нынешней тенденцией морального сознания, которая с каждым днем становится все сильнее. В самом деле, одна из фундаментальных аксиом, можно даже сказать, фундаментальнейшая аксиома нашей морали, состоит в том, что человеческая личность есть явление поистине святое; она имеет право на уважение, которое верующий любой религии предназначает своему богу, и это то, что выражаем мы сами, когда создаем из идеи человечества цель и смысл существования отечества. В силу этого принципа всякое вторжение в глубины нашей души представляется нам аморальным, поскольку это насилие, совершаемое над нашей личной автономией. Все сегодня признают, по крайней мере, в теории, что никогда, ни в каком случае, определенный способ мышления не должен быть нам принудительно навязан, будь он даже освящен именем какого-нибудь морального авторитета. Правилom не только логики, но и морали, является то, что наш разум должен принимать в качестве истинного только то, что он самопроизвольно признает таковым. Но тогда и с практикой не может быть иначе. Поскольку идея имеет целью и смыслом существования руководство действием, то важно ли, чтобы мысль была свободной, если действие порабощено?

Некоторые, правда, оспаривают у морального сознания право требовать подобную автономию. Было замечено, что в действительности мы подвергаемся постоянным ограничениям, что социальная среда нас моделирует, что она навязывает нам разного рода мнения, над которыми мы не размышляли, не говоря уже о тех тенденциях, которые фатально передаются посредством наследственности. К этому добавляют, что не только в действительности, но и в праве личность может быть только продуктом среды. Ведь откуда она может появиться? Либо нужно сказать, что она не рождалась вообще, что она существует испокон веков, единая и неделимая, настоящий психичес-

кий атом, неизвестно как свалившийся в тело; либо, если она родилась, если она сформировалась из частей, как все, что существует в мире, то нужно, чтобы она была соединением и результатом разнообразных сил, исходящих из расы или из общества. И мы сами показали, почему она не могла питаться из другого источника.

Но какими бы неоспоримыми ни были эти факты, какой бы несомненной ни была эта зависимость, несомненно также и то, что моральное сознание все более и более энергично протестует против этой зависимости и энергично требует для личности все более и более значительной автономии. Учитывая всеобщность и устойчивость этого требования, постоянно растущую решительность, с которой она утверждается, невозможно видеть в ней продукт какой-то галлюцинации общественного сознания. Она с необходимостью должна чему-то соответствовать. Автономия сознания сама по себе есть факт того же ранга, что и противоположные, противопоставляемые ей факты, и вместо того, чтобы ее отрицать, оспаривать ее право на существование, нужно, поскольку она существует, ее объяснить.

Кант, несомненно, был моралистом, обладавшим наиболее живым ощущением этой двойственной необходимости. Прежде всего, никто не ощущал повелительный характер морального закона сильнее, чем он, поскольку он делает из него настоящее приказание, которому мы обязаны чуть ли не пассивно подчиняться. «Отношение человеческой воли к этому закону, — говорит он, — это отношение зависимости (Abhängigkeit); его называют словом «обязанность» (Verbindlichkeit), означаящим «принуждение» (Nötigung)». Но в то же время он отказывается допустить, что воля может быть полностью моральной, когда она не автономна, когда она пассивно испытывает воздействие закона, создателем которого она не является. «Автономия воли, — говорит он, — это единственный принцип всех моральных законов и всех обязанностей, которые им соответствуют: всякая гетерономия воли ... противоположна ... моральности воли» (см. прим. 1).

И вот как Кант думал разрешить эту антиномию. Сама по себе, говорит он, воля автономна. Если бы воля не была подчинена воздействию чувств, если бы она была устроена таким образом, что следовала бы исключительно наставлениям разума, она бы направлялась к выполнению долга спонтанно, только стремлением своей природы. Для существа чисто рационального закон поэтому потерял бы свой обязательный характер, свой принудительный аспект; автономия была бы полной. Но в действительности мы не являемся чисто разумными существами; у нас есть чувства, которые обладают собственной природой и которые не подчиняются приказам разума. В то время как разум направлен в целом в сторону безличного, чувства, наоборот, близки к тому, что своеобразно и индивидуально.

Закон разума, следовательно, — это обуза для наших влечений, и вот почему мы ощущаем его как обязательный и принудительный. Дело в том, что он совершает по отношению к ним настоящее принуждение. Но этот закон является обязанностью, повелительной дисциплиной только в отношении чувств. Чистый разум, наоборот, зависит только от самого себя, он автономен; это он сам создает закон, который навязывает низшим сторонам нашего существа. Таким образом, отмеченное противоречие разрешается самим дуализмом нашей природы: автономия — творение разумной воли, гетерономия — чувств.

Но обязанность тогда оказывается в каком-то смысле случайным свойством морального закона. Сам по себе закон уже не является с необходимостью повелитель-

ным, а наделяется авторитетом только тогда, когда оказывается в конфликте со страстями. Но подобная гипотеза совершенно произвольна. Все доказывает, наоборот, что моральный закон наделен авторитетом, который навязывает уважение даже самому разуму. Мы ощущаем, что этот авторитет доминирует не только над нашими чувствами, но над всей нашей природой, даже над нашей рациональной природой. Кант лучше, чем кто-либо, показал, что есть нечто религиозное в чувстве, которое моральный закон внушает даже самому высокому разуму; но мы можем испытывать религиозное чувство только к существу, реальному или идеальному, которое представляется нам выше, чем способность, формирующая это чувство.

Дело в том, что в действительности обязанность — это важнейший элемент морального предписания; и мы сказали, в чем причина этого. Вся наша природа целиком нуждается в том, что быть ограничиваемой, сдерживаемой, обуздываемой, и это относится к нашему разуму так же, как и к нашим чувствам. Ибо наш разум не является трансцендентной способностью: он входит в мир и, следовательно, подчиняется законам мира. Все, что есть в мире, ограничено, а всякое ограничение предполагает существование сил, которые ограничивают. Чтобы иметь возможность обосновать, даже в тех понятиях, о которых я только что сказал, чистую автономию воли, Кант был вынужден допустить, что воля, по крайней мере, в том виде, в каком она чисто рациональна, не зависит от законов природы. Он был вынужден сделать ее отдельной реальностью в мире, на которую мир не действует, которая, замкнутая в самой себе, остается свободной от действия внешних сил. Нам представляется бессмысленным обсуждать сегодня эту метафизическую концепцию, способную лишь скомпрометировать те идеи, с которыми ее связывают.

Пер. с французского А.Б. Гофмана

Примечания

1. Critique de la raison pratique, des Principes, paragraphes 7 et 8. Trad. Barni, p. 177 et 179.

Поступила в редакцию 15.08.2018 г. (№ 2320)